

INSPIRIA

МИКАЭЛЬ
ДЕССЕ



НЕПОКОИ



Содержит
нецензурную
брань



INSPIRIA

Поцелуй меня, укуси меня!

Микаэль Дессе

Непокой

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Дессе М.

Непокой / М. Дессе — «Эксмо», 2020 — (Поцелуй меня, укуси меня!)

ISBN 978-5-04-188788-9

Логика больше нет. Она скончалась в Санкт-Петербурге при таинственных обстоятельствах. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в провинциальной психбольнице и учинившие в ней культ. И все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрощенный гость — Тикай Агапов, друг детства Логика и главный претендент на питерскую квартиру покойницы. Так начинается матово-черная комедия «Непокой», в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча. Сшивая вместе документы, шутки и лирику, в своей книге Дессе исследует явления безумия и скорби средствами постмодернистской литературы и попутно дает мастер-класс по написанию концептуальной прозы. Открывающая сборник повесть вошла в финал национальной премии «Русское слово» в номинации «Интеллектуальная проза» (2019); «Непокой» в нынешнем составе попал в лонг-лист премии «ФИКШН35» (2021). «"Непокой" — редкий случай концептуальной прозы, которую еще и весело читать. Дессе нашел отличный баланс между литературными играми и кэмпом на грани фола». — Алексей Поляринов, писатель «Дессе завораживающий рассказчик, погружающий читателя в свой сложный и интересный мир. Как в художественной прозе, так и в публицистике он вглядывается вглубь, пробуя себя в постмодернистской игре без права на поражение». — Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» «Нахрапистая, ядреная, в крапинку и с сорванным, но то и дело торчащим кружевом, дебютная проза, пробиваться сквозь которую нужно в хите этого сезона — галоперидоловых очках. Мой любимый музыкальный исполнитель Дэвид Бирн однажды заклинал: "Stop making sense". Вот и вы, дорогие и смелые читатели, повторяйте эту мантру почаще, живя по прописке в Бамбуковом уезде». — Павел Пугачев, редактор сайта журнала «Сеанс», кинокритик

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-188788-9

© Дессе М., 2020
© Эксмо, 2020

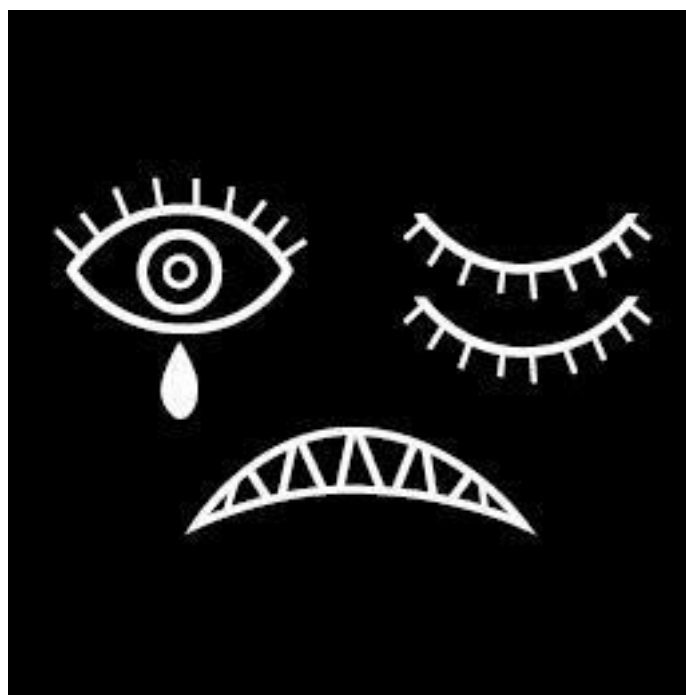
Содержание

Часть первая	8
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Микаэль Дессе Непокой или Кучерявый траур Тикая Агапова

Единственно возможная политика чистоты – фашизм...
Ник Ланд

*Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг – а иной.*
Владислав Ходасевич



В коллаже на обложке использована фотография: © Evgenij Yulkin / Stocksy United / Legion-Media.

В оформлении форзаца использована иллюстрация: © Aprily / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com

INSPIRIA

© Дессе М., 2020

© ООО «Издательство «Эксмо», 2023



ТИКАЙ АГАПОВ

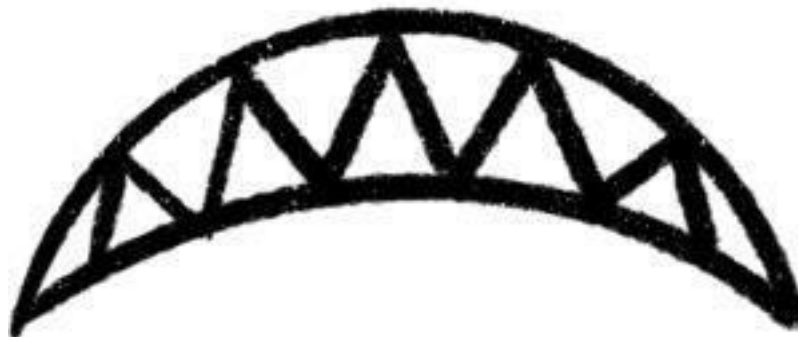


АНОНИМНЫЙ РАССКАЗЧИК



АРХИВ (МНЕНИЯ, ГАЗЕТНЫЕ ВЫРЕЗКИ И ПРОЧ.)

Часть первая Непокой



Холера, пишу к тебе затем, что ты одна читаешь чем положено. Действительно, в ночь на среду Логике не стало. Поговаривают, скончалась она от энтеровирусной инфекции, поскольку не умела срыгивать, точно мышь какая. Некстати в Ленинградской области занялась полярная ночь – это тоже правда, – потому тьма небесная правит здесь отныне и присно, по неизвестное число, и в том щекотливость нашего положения, что всенощное бдение наказано бдеть до утра, и не формального, что на часах, а всамделишного, что на восходе солнца.

Ты, верно, видела уже конкурентную печать. Если так, роняю профессиональный вопрос: разве можно с такой небрежностью освещать такой грандиозный процесс? Не иначе, погоняют нашего брата. Ну а я подожду, чтобы лишний раз не вымарывать бумагу. Вот в «Артиклях» куда ни шло – из некролога следует, что трагедия приключилась национального масштаба, и оно понятно, ведь девушка была молодая, рыжая, а сверх того – блестящий фармацевт. Людей подобного сочетания в стране совсем немного. Притом ведущими метафизиками мира было установлено, что Логика была законодателем, если не сказать оплотом, целой человеческой бытности. Как это понимать – еще поди разбери. Метафизики такой народ – ничего толком не проясняют, а только и делают, что эффектно наводят шороху. Тем не менее это их сообщение было воспринято мировой общественностью всерьез ввиду многочисленных катаклизмов в ряду смыслов. Не знаю, как у вас, но у нас чуть ни на каждом шагу заслучались конфузы и абсурды. Люди просыпаются без воли к жизни, иногда ушей, а иногда – чувства такта и хорошего вкуса (таких случаев уже зарегистрировано рекордное множество). Слышал, просыпаются даже безо всего сразу или не просыпаются вовсе, лишенные во сне и телес, и самосознания.

Участники панихиды смущены еще тем, что животные, прочая природа и архитектура сходных лишений не претерпели, а вздорный плющ, обвивший настоящее и тянувший стебли в грядущее, имел свинство пустить корни в наше неприкосновенное прошлое и все там исковеркать на свой лад. Бред, одним словом, а виновата, как повелось, женщина.

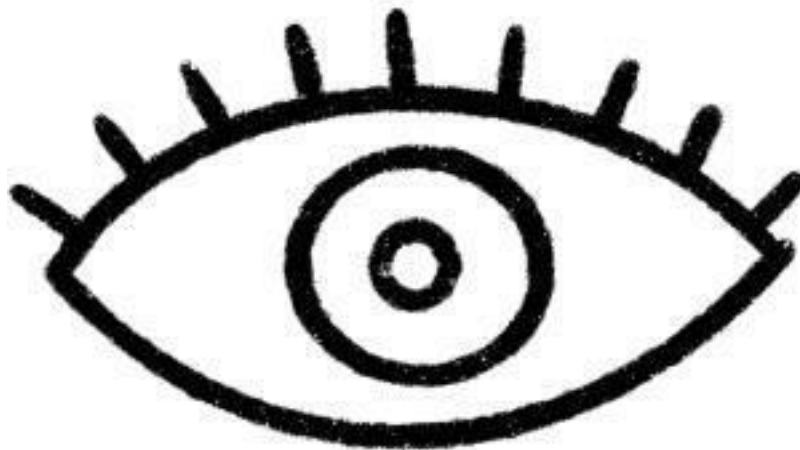
Верен и слух, что вчерась церемония была едва не сорвана. Гроб, музыка, фуршет – все было изумительно, пока не появился непрощенный не то знакомец, не то жених покойницы. На той стороне реконструирую.

В сумеречный час шло отпевание, когда распахнулись широко двери в большом зале хорошо, роскошно даже обставленной бывшей церковной консерватории, и на лиловый шелк ковра ввалилась снежная лавина, и в этой лавине исходил из всех щелей паром без пяти минут вдовец (свадьбу так и не сыграли, а тут часы, понимаешь, встали!) Тикай Агапов в шарфах любопытных колоров и текстур. С собою он имел керамическое изделие в форме шаржевого

котика, в восточной выделке которого прочие скорбящие усмотрели по меньшей мере кощунство, а по большей – натуральное миссионерство. Я потом его не видел, потому что погас свет и всех спешно вывели через черный ход.

Соображай полосу. И не преминь чиркнуть, что службу вел молодой совсем шаман племени Машона – Чака, сын Йона. Добрый час он танцевал с бубном над усопшей, жег солому, пел по-своему и теперь остался здесь, оттого что вернуться на родину не имеет валюты.

Тут надо бы поддать словца, да покраснее! И хоть это топливо мне ни шиша не стоит, прежде всего горят сроки: погребение уже сегодня, в половину первого, но ни в коем случае не приезжай – иногородних учредители без особых к тому показаний сажают на бамбук.



В номерах аскетически закис очаровательно-одурелый (šal-charm) герой байронического типа-опа! Его обязательно казнят, а пока слышен еще голос, этот дважды сорванный тенор, и бренчанье на воспаленных нервах.

Настроение мычать Пахельбеля и начинать вафельные рожки мокрым порохом, но вместо этого пишу на чем ни попадя. Это дома меня ждет знатный инструмент – точная копия первого «Ремингтона», за вычетом раскладки и бесшумной каретки, – а тут нет лишнего листа, нет даже ластика. Выходит – каждая мысль с наскока, и пока мне точат грифель, утихают сожаления об испорченной бумаге.

Тут – это сразу в двух мирах, на которые сейчас поделен Бамбуковый уезд. Чтобы вы имели представление о предстоящем пути и архитектуре конечного пункта, списываю красноречивый абзац из путеводителя: «На снимке со спутника эта непротяженная дорога на выступающем лобке сосновой чащобы в шестнадцать километрах к востоку от Санкт-Петербурга похожа на бетонный слепок человеческой аорты. Несмотря на многочисленные выбоины, сохранилась она на сегодняшний день настолько хорошо, что вместе с линией электропередачи выглядит посторонней среди земли, травы и неотесанного камня долины, в которой простирается. Самый ее конец лежит в леске, у дверей так называемого Бамбукового дома. Три этажа его четырехкрылого корпуса окружены рвом с мостиком, ведущим к арочному въезду в колодец двора. Над аркой вырублено ромбом единственное непроницаемое окно, а вместо крыши ржавеет бесформенная шапка бамбуковых листьев, отчего здание похоже на сплюснутую гравитацией голову позеленевшего циклопа. Исполинские сосны ревностно берегут его лицо от солнца, но недостаточно густа их хвоя, и поэтому в ясные дни стены дома усеяны блестящими малахитовыми спиломами».

От себя добавлю, что здание отдельными своими очертаниями до смешного напоминает католический монастырь, цвет его к этому времени – лежало-салатовый, а участок обрамлен высоким – выше даже выпавшего снега! – вымершим кустом, что полы внутри дома, как на

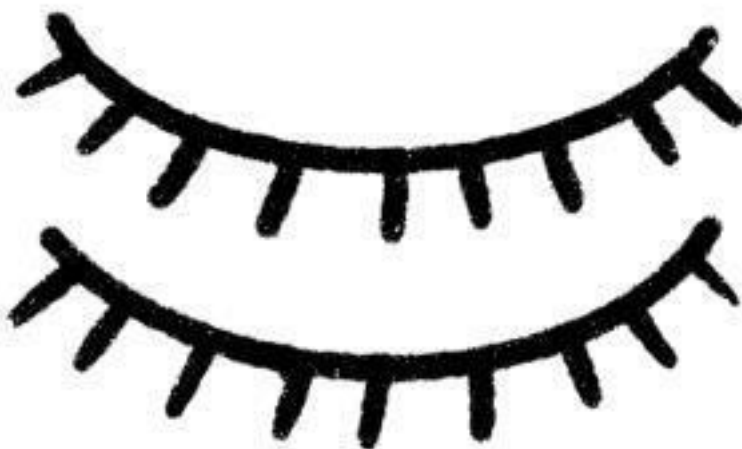
шахматной доске, в черно-белую клетку, стены сплошь прошиты елочными гирляндами и что все три этажа его снабжены говорящими пространствами за рифленным стеклом. Таков первый мир, с бумагой и карандашом, зато без окон – то ромбовидное в коридоре изнутри замазали смолю, и свет едва просачивается через разводы. Местные, впрочем, в окнах не нуждаются. Им и без них понятно, что кругом руины.

Вообще-то кругом лес, а напротив дома развернут траурно-черный шатер по типу циркового – в нем, собственно, проходят поминки Логике Насущной. Это мир под номером два. При его входе смаргивает слезинку неоновая вывеска формы алой зенки, а внутри под куполом багровеют лучистые черешни китайских бумажных фонариков. В их слабом свете людские бошки кажутся томатами, кипящими в угольной вари. Насколько мне известно, решение вынести поминки за порог было всеобщим. Дом не терпит скорбящих – ему от них солено и натоптано, он их сплевывает, и его нельзя винить. Организовал все это дело альбинос по имени Африкан Ильич, немолодой человек с тонюсеньким комариным соплом и чаще невероятной длинны, словно инеем покрытых ресниц.

Нинисты убеждены, что мир снесло томатное цунами. По поверьям, на вкус оно было – ну точно импортный суп «Кэмпбелл». Поныне, говорят, в кукурузных полях, стреляя попкорном, гуляют огненные смерчи и раз в неделю выпадают смертоносные осадки – силиконовый град размером с грейпфрут. Дескать, только тут крыша цела, а двери все на своих местах. Но уж лучше умереть снаружи, так как здесь работает хорошо вам известный Цветан Метумов. По указу Истины он мне выкорчевал правый уеух¹, а червоточину в центре гнезда из слез, ресниц и кожи зашил шелковыми нитями его коллега – Антон Вакенгут, знаменитый кутюрье, выдающийся брюзга и коллега Африкана Ильича. Такой вот вхожий э-ти-кет у моих пленителей, а я ведь вас не знаю; не знаю даже, как вы отреагируете на неприличное слово «пупок», но жалуюсь. Надеюсь, выйдете на тех, кто примет меры.

Обратный адрес: табурет на поле c2 и столик на d3. Может, и не мои они вовсе. Тут капитализм хромает. Я его запряг в иждивенческие сани. Приятно в них сидится, неторопливо катится. И все бы упоительно, когда б не гадила эта синтетическая сволочь. Истина, как по мне, не женщина, а продукт химической реакции в смеси пафоса, подлости и парфюмерии. Еще кофия, о чем свидетельствует цветущая желтизна ее зубов. Вроде не француженка, но хуже нее нет.

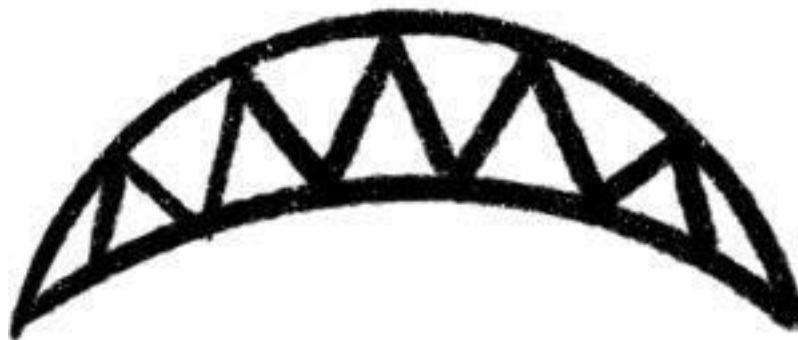
Вы пардоньте, что текстуру бессвязно. Отвлекаюсь на память – мой ампутированный глаз смотрит теперь в прошлое, как вчера – в чужое письменное. Далее стенографирую.



¹ Глаз (фр.).

И хотя доктор Леопольд Тамм был молодожен, утром тридцатого марта он чуть-чуть влюбился в бортпроводницу самолета эстонских авиалиний. Предлогом тому послужила легчайшая турбулентность. Любви того же помета случались с ним и раньше – в городских автобусах, в университетах и парках, – но обуять наваждение он, истощенный взнуздыванием трясущихся поджилок, оказался не в силах. Бортпроводница в свою очередь ответила на его чувства стандартным набором блюд из индейки, фритты с грибами, тирамису и колы безо льда, тем не менее преступен был уже порыв.

Через три часа лету, пересадок и липких грез Тамм очутился под Санкт-Петербургом, одновременно в неглубокой российской ночи, аномальной метели и расстроенных чувствах. Укачано спустившись по трапу, он, не дожидаясь багажа, бегом направился в уборную, где в одной из кабинок его вытошнило полупереваренной фриттой и обратило в совершенно другого человека – холостого, что немаловажно, – Тикая Агапова. Этот не засуетился, получил чемодан своего alter ego, распотрошил его в зале ожидания, нашел на свое, Тикая Агапова, имя заказное письмо и из него выяснил, что Логика Насущная завещала ему квартиру, ключ от которой был приложен.

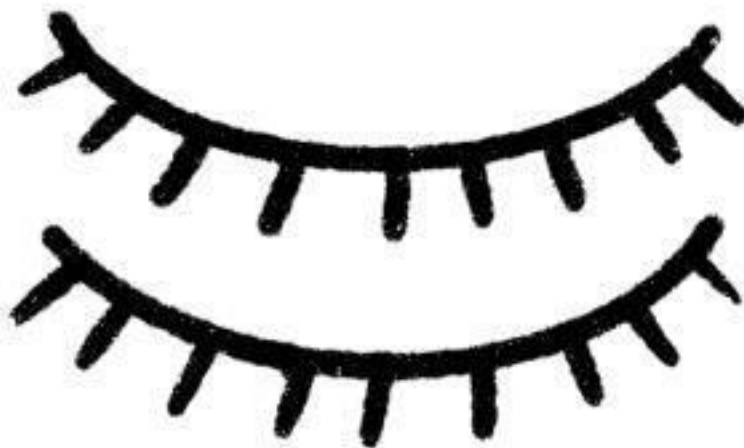


Как сообщается к этому часу, произошла некоторая радикализация общественных институтов. В автобусах, например, установили турникеты. Причем не только нижние, на уровне бедер, но и верхние, для головы, чтобы зайцам при входе сразу сворачивало шею.

Работает система исправно: в первый же день было поймано с поличным и безотлагательно ликвидировано 106 правонарушителей. Ее лоббистам остается решить проблемы отставания машин от графиков и дорожных заторов, возникающих в связи с извлечением трупов из общественного транспорта и часто затяжной дачей показаний водителем и понятыми.

Кондукторы, соответственно, попали под сокращение, и это страшно логично.

Читайте также: Ученые доказали, что в пожарах с обильным выделением угарного газа чаще выживают курильщики со стажем от 10 лет (стр. 4–5).



Ранним утром накануне похорон телом Тикай Илларионович Агапов разлегся в горячей ванне, не сняв даже пальто из вполне добротной смесовой шерсти, а душой пребывал в глубочайшем, но безбурном трауре. Только что он унял всякое жгучее чувство тлетворной процедурой, вследствие – стал, как хотел, равнодушен и попросту мок.

Надо сказать об этом человеке, что он был молодой, аккуратный во всех отношениях, но угловатый в лице, плечах, к тому времени хорошенько распаренный, плохонько подстриженный и с бельмом в правом глазу; что на нем, кроме пальто, было все-таки белье и что он не лил слезы тот раз, а пребывал как бы в себе.

Тем днем в шестом часу во всем доме отключили электричество. Света в квартире не было тридцать шесть минут, но все это время и целых одиннадцать минут после Тикай лежал, прижав до пота плотно ладони к лицу, и поэтому, отняв руки, никакой перемены не заметил; только шли из глаз, уцепившись за пальцы, алые веточки нервов. Их он вытянул, сколько вышло, скатал в два клубка и было сунул под воду в худой карман, но одумался и бросил на пол, не придав этому престранному эпизоду особого значения, поскольку уже несколько привык к дурце видимого окружения – она с известных пор случалась, но в рецепции Тикая была отягощена неожиданно прозревшим во лбу третьим глазом, который тот по первости принял за прыщ и расчесал. Глаз на это воспалился и обиженно сполз вниз, налив собой правую зеницу, слившись с ней и ее помутив. Нагноенный добела, сулил он жизнь нелегкую – видел собою разное и все клеймил сроком годности. Этой второй его функцией усугублялась непреходящая тоска Тикая. Не врут же, когда говорят, что срок всему на свете отмерен. Если, согласно науке, даже время не вечно, какая может быть речь о ванном реквизите? Взглянувши на тюбик гигиенического средства, Тикай точно узнал, что осталось ему в более-менее целом виде всего-то три года, а дальше – все, волокно и пыль. Видеть же сроки биологического материала, вроде детей и бесхозных животных, было совсем паршиво. Любому сознательному млекопитающему недолговечность сущего горчит по жизни, а неверующему (таков был Агапов) – так вдвойне.

Когда вода вконец остыла, Тикай встал, чуть стек и пошлепал в кухню. Сам он закутался в кусачий плед, а пальто отжал, проутюжив скалкой, и повесил на стул близ дышащей жаром отворенной духовки. Была это квартира-студия в скверном домишке на долготе Лиговского проспекта, вся прилежно выбеленная, но не оклеенная, а только бедновато украшенная мебелью. Кухней считалась та треть комнаты, в которой располагались плита и умывальник. Ее границы были обозначены геометрически неопределенным столиком – квадратным по замыслу плотника, но округлившимся по ходу службы: все углы его сбились, стерлись и так канули в Лету. Кроме него, человек прихожий выцепил бы взглядом рисунок ротастого полумесяца, пригвожденный магнитиками к дверце необъятного двухметрового холодильника, и библиотеку на трех косых полках, уставленных выкрашенными льняным маслом книгами. Целью

художеств, подумал Тикай, было скрасить бесвкусицу иных обложек. Сам дом оказался запущен и, судя по симптомам – настенному грибку типа *Rhizopus*, шаровидно вздутую санузлу, сколиозу перил и мокроте в лестничном пролете, – был уже при смерти.

– [Квартира светом не богата. Ей мало одного окна. Припухшая в нем розовеет рыха заднего двора,] – запищала, показалось Тикаю, оконная рама.

Чтобы ее по-своему утешить, он снял с подоконника пустую вазу и уселся узеньким задом вместо нее, составив компанию подсвечнику и знакомой копилке, так называемой манэки-нэко – киске-зазывалочке. Подарком была эта черноухая, а впрочем – белая, раскосая, расписная, подающая лапку игрушка. Когда-то он и стащил эту утварь с блошиного рынка, чтобы вручить Логике на ее – двадцатый день рождения. В свете последних событий копилка, ясное дело, ожила, но Тикай об этом пока не знал и заворуженно смотрел, как под окном у тротуара голуби – недобрая дюжина птиц – победно водили хоровод вокруг мертвого кота.

– [Грустно тебе?] – спросила копилка в тоне шкодливого ребенка.

Тикай качнул мокрой головой.

– [Когда теперь нашу девочку зарюют?]

– Завтра.

– [Ведь не прямо же туточки в квартире?]

– Не туточки.

– [Ясен пень, не туточки, а на кладбище в Бамбуковом уезде!]

На эти копилкины слова Тикай сник, с подоконника брык и принялся сутуло прохаживаться по квартире, рассуждая про себя: «Да разве там уезд? Скажи она “семитский поселок городского типа” – и возражать нечего, а так – заговаривается стеклянная».

– [Я к тому веду, что непонятно, какого ты расселся!]

Ударил ветер, икнула и захлопнулась форточка.

– Не поеду, – отрезал Тикай.

– [Вот так новость! Слабый ты, оказывается, паренек, изнеженный.]

– Не в этом дело. Ни черного костюма нет у меня, ни знакомого, у которого можно было бы взять такой напрокат, а бежевая тройка Тамма годится только на танцы.

– [Как можно?! У них там стол, а проводи ты ревизию холодильника, знал бы, что на завтрак у тебя всего только огрызок спаржи. Да и что такое костюм, когда мы говорим о закопках человека! Родного человека!]

Тикай уставился на блестящую в раковине под грудой грязной посуды чайную ложечку и как будто не услышал, что кричала копилка. Голос у нее был как у шестилетней, охочей до визга безобразницы, да еще и с японским выговором, в тянучке которого было что-то по настоящему кошачье.

– Меня, знаешь, не приглашали.

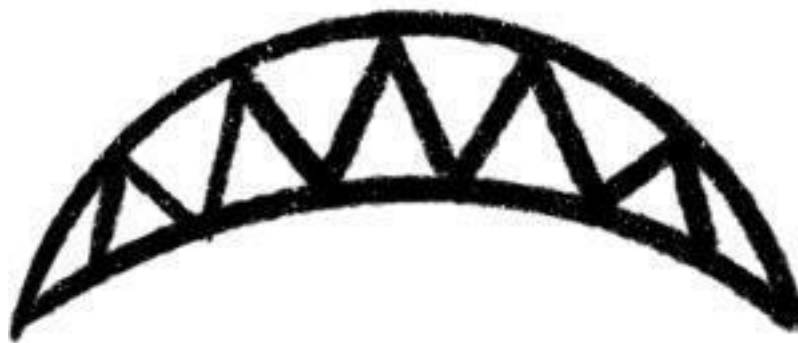
– [Ой, все! Тем паче ты должен там показаться. Не из сочувствия, так хотя бы из наглости.]

Тикай и до уговоров хотел поехать, но смущался всяких возможных эксцессов, а тут уже окончательно решил. Голод взял свое. Кошка, кажется, это поняла, потому что перестала его упрашивать и наконец представилась: «[Дама по имени Драма]». Тикай в свой черед назвался и пожаловался на несносную бессонницу.

– [Хочешь, я тебе помурлычу?]

– А давай.

Он откинулся в кресле, заложил руки за голову и, частью задремав, внял фонеме, когда послышались ему в стуке сердца тишайшие отзвуки опия. Он вздрогнул тогда, очнулся всеми членами и больше не смыкал глаз.



Уложусь в три слова. Раньше ведь получалось.

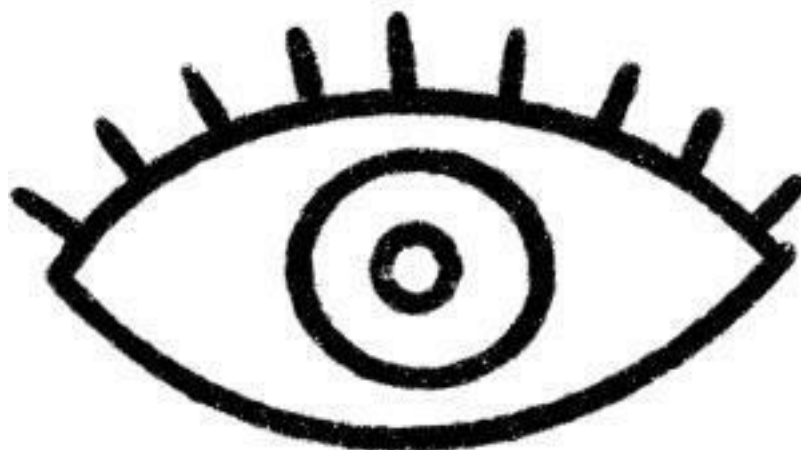
Инцидент был на практическом занятии в морге. Пришла почти вся группа, лбов двенадцать сгрудились у стола, сами желторотые, пытливые, обморочные в намордниках, фартуках, чепчиках. Я не такой, нет. Займемся, говорят, сегодня вскрытием с установлением причины смерти, и выдана нам для этих целей моя холодная ровесница. Уложили. Лицо, как положено, прикрыто полотняной салфеткой, а волосы рыжие, стрижена коротко. В левой подреберной части колотые раны, но умерла она, предположительно, из-за отказавшей печени. Режет Симон и ассистент – имени не вспомню, хотя его нам вроде бы представили.

Первым делом вспорол от подбородка до паха, развел живот и груди, поддел зажимами со всех сторон. Пошел запах. Выемку грудной клетки я проглядел – отвлекся на новоприбывшего – и обернулся, когда уже Аристарх Андреевич, будто нащупав в горле все связующую ниточку, вытащил одной рукой девичье нутро от печени до аппендикса. Подержал его на весу, как запутанную висцеральную гирлянду, пока мы описывали, а как закончили – бросил небрежно на столешницу у самой раковины и возился там долго со скальпелем.

– Пиши, – говорит ассистенту, – кишечная палочка. – И в раковину летит и кладает о металл небольшая серебристая полоска.

И потом все вместе рассматривали внутренний мир молодой женщины, копались в нем коррозионно-стойкой сталью. Я понял, она безумна, и похоронят ее санитары. Так донесли остуженные органы. Через пепел в желудке. Она ела пепел. Боже. Интересно какой. Сигаретный, наверное. А марка? Пока я умствовал, вся ее извлеченная часть – мясное ассорти из усохшего сердца, исполосованного кишечника, раздутой печени и остального – отправилась в корзину, а ассистент за нашими спинами набил ее пустоты тампонами и пожелтевшими бинтами. И когда он штопал, тогда с ее лица упала грубая вуаль, и она оказалась прелестной, курносой, губастой, хотя рот был настежь и глаза по-покойничьи разъехались, а это, конечно, фу, и тогда все поменялись в лице, когда у Арсения случился припадок и он дал нам понять, что в эту самую секунду произвольно писается в брюки, и вообще по натуре он любвеобильный, а хочет в патологоанатомы.

Я вот не описался, и припадок меня миновал, но чувствую, да – сердце мое тоже пылкое. Может, буду прозектором, а может, не буду, и она одна была такая – сумасшедшая, красивая, мертвая.



У матери, лингвистки по образованию, я еще из-под стола частенько спрашивал: «А какое слово, если подумать, самое главное?»

Если подумать.

Догадываясь, что в Бамбуковом доме беглецу уготованы в лучшем случае кандалы, перво-наперво я съездил навестить ее участок на Смоленском кладбище. Опекуны мои его недоглядели – могила провалилась, с оградки хлопьями сыпалась краска, под тающим льдом взбухла бездна пожухлой травы, а имени и дат на табличке не разглядишь и с лупой.

В Израиле у нас был огород, мы выращивали картошку. Годами цветки ее порывались сожрать колорадские жуки. В детстве я собирал их в большую банку, а потом всячески над ними измывался – сжигал, свеживал, насаживал на зубочистки, замораживал с водой в формочках для льда. Когда мне было восемь, у моей матери нашли рак. Через три года его бляшки так плотно усеяли ее внутренности, что, сумей я их достать, для них, наверное, не нашлось бы банки по размеру. Они влезли в коронарные сосуды, и тогда моя мать умерла. К тому времени она весила сорок килограммов или чуть больше, а может и чуть меньше. Рак ее съел. Обьедки положили в гроб и зарыли в землю.

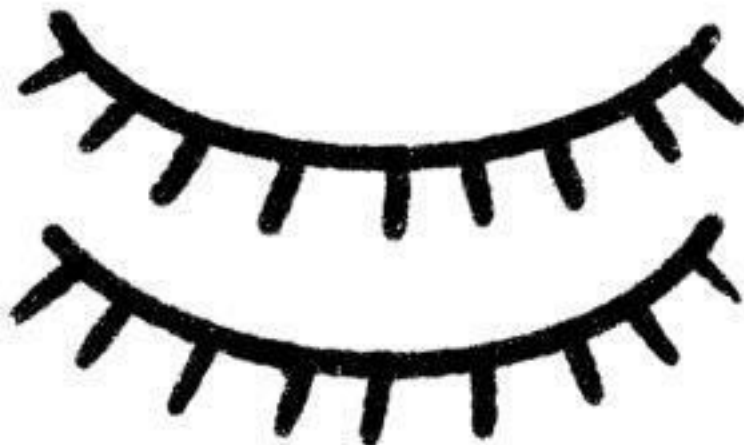
Она считала меня бессердечным ребенком, и небезосновательно. Было время, я подумывал убить нашего кота – Кира. Приноровился он ссать мимо лотка – чертил мочою желтые пентаграммы на ковролине. Яйцы – и те ему оттяпали, а он, демон, все метил и метил. Хотя, может, не в нем было дело, и просто мне хотелось кого-нибудь поистязать. Со злым пристрастием втирал я кота мордой в его собственные лужи, а когда и этого мне стало мало, принялся пинать его что было мочи. Всяко хотелось пнуть, что ни попадя под ногу. Кобелька соседского хотелось пнуть, жучка, да хоть камень. А подвернись мне под ногу младенец – я и его с дуру, но и с удовольствием бы пнул. Или не пнул, но и не приголубил – это точно. Помню, попался мне тогда жирный слизняк в теплице – так я принес его домой и засолил. Как он мучился! Как извивался! Пока соль не вышла, солил его. Под конец он уже стал похож на высушенный воробьиный помет. За это-то меня и сошлют в ад, на корм Киру.

Каждому из нас поставят памятник. Кому на площади, а кому на кладбище. И матери моей не пристало лежать под ржавым прутком с именной табличкой. На все рубли, что наменял с крон, я заказал ей в местной конторе приличный камень с гравировкой. Не далече как в августе могилу моей матушки вы сможете найти по памятнику с такой эпитафией: «Самое главное слово – это “слово”. Самая главная книга – это Букварь». Так она мне отвечала.

Новорожденная мысль эфемерна, почти что бесплотна, но сгущается с опытом. Парообразная мысль душна. Жидкой захлебнешься. Во льду ее будешь замурован. Всякое знание

подвластно законам aggrego². Всякое знание мне неудобно. Вот не знаю самого главного слова – и пусть. Отсель мне, безбожнику, поминая усопших – да и на смертном одре, – нелишним будет замест молитвы декламировать русский алфавит.

В воротах Смоленского я определился с миссией визита: разворошить осиное гнездо Насущных и наесться вдоволь, чего бы мне это ни стоило. Знать бы еще, с какого перепугу вздумал лезть на рожон мой эстонский попечитель Леопольд Тамм.



Ничто не предвещало криминала. Тикай тогда прикорнул, а Леопольд Тамм к приходу жены разделявал курицу в кухне их таллинской квартиры, и как раз по эстонскому радио по-эстонски сказали, что никто никому ничем не обязан, как раздался дверной звонок. Тамм от удивления чуть не отрезал себе палец и поэтому шел открывать незваному гостю вгорячах. На пороге его ожидал щуплый юноша в курьерской униформе с пузатым рюкзаком наперевес.

– Вы Леопольд Тамм? – по-эстонски спросил курьер.

– Может, и я, – по-эстонски ответил Тамм. – Чего вам?

Курьер извлек из рюкзака полиэтиленовый кулек подарочной раскраски и открытку. Тамм за них расписался, у курьера из рук выхватил, дверь запер и давай изучать.

«Ты, зятек, на щедрые вливания особо не рассчитывай. Бери пример с растения», – по-эстонски сообщала подписанная тестем открытка. В кулек был завернут глиняный горшок с торчащим из него конусовидным малюткой кактусом – эти, как известно, и вовсе без воды не сразу чахнут. Тут надо прояснить одну вещь. Неделей ранее Тамм женился на дочери владельца кирпичного завода. Женился не по любви, а из корысти, рассчитывая бросить медицинскую практику, которая у него включала всовывание пальцев в незастекленные бздимонокли малоизвестных людей, и зажить на дотации со стороны тестя, который, как теперь выяснилось, мужик был ехидный, а что страшнее – жадный.

Тамм, гневно пыхтя, понес символический подарок в кухню, отворил окно и как бы обронил горшок с двух вытянутых рук во внутренний двор. Разделавшись, он даже не взглянул, что случилось с кактусом после падения с пятого этажа, а уже упоенно размышлял, что почтальон ему милее тем, что воспитан не как курьер – дверной звонок не терзает, подписать ничего не сует и вообще душка, хоть и приходится иной раз проверять почтовый ящик из-за его крохотности, а Тамм и правда давно в него не заглядывал. Вспомнить бы еще, куда подевался ключик, что его отворяет. На магните в коридоре все ключи были слишком длинные, стертые, латунного цвета, а тот был вот такусенький, гладкий, серебристый. Тамм пошарил в карманах

² Соединения (лат.).

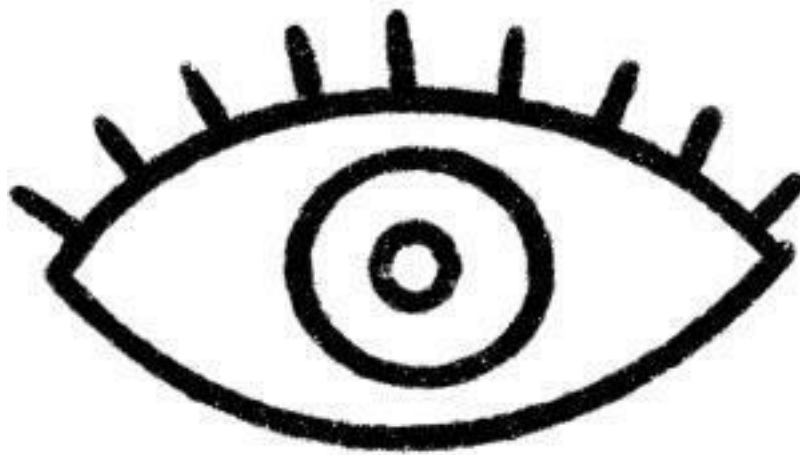
куртки, шорт, шубы – одни фантики от жвачки да крошка непонятно от чего. У консьержа есть запасной, вспомнил Тамм, влез в портки, доехал на лифте до первого этажа, чтобы там грязно выругаться по-эстонски: консьерж куда-то умотал и даже табличку не выставил, что так и так, *palun oodake*³.

Почтовые ящики из прозрачного пластика висели за стойкой, и Тамм, вытянув шею, углядел в своем толстое заказное письмо, адресованное Тикаю Агапову. Тамм лично распорядился, чтобы почта на его имя шла сюда, иначе бы Агапов сам все устроил, а кроме того, натворил еще дел своему подселенцу во вред, чтобы тот знал, кто рыцарь, чья лошадь, а кому только и позволено везти ее под уздцы.

Тамм руки в боки и ждать консьержа, наворачивая вокруг его стойки пеший марафон. Так бы и ходил, но вот вступило в спину, наступило крайнее возмущение, отступили хорошие манеры, и Тамм полез за стойку. Только он нащупал нужный ключ, пороняв с крючков много прочих, объявился консьерж, ударил по ушам бранью и хлопком двери парадной (то бишь курить отходил в урочное время – шпана! – и права качает), не умолкая, вытолкнул Тамма из-за стойки и схватился за телефон. Тамм, хоть и огрызнулся в ответ, к ящику своему отскочил виновато, отпирал его воровато и пока разглядывал марки на конверте, консьерж дозволился куда хотел и заорал в трубку, что дворника их, Айвара, средь бела дня убило горшком по голове, горшком с молочаем, убило всмятку, но Тамм был прозорливый эстонец. Он знал наперед, что горшок не с молочаем никаким, а с кактусом-недоростком, что Айвар подметал, должно быть, под окнами, когда десятью метрами выше убийца его впал в бешенство и решил выпустить пар заодно с горшком через кухонное окно. С напускным недоверием смерив консьержа взглядом так, чтоб он заметил, Тамм вышел во двор, где уже окружили лежащего навзничь Айвара пятеро равнодушных – все угрюмые, а один, немолодой, даже шляпу снял, принял ее на груди поближе к левому легкому.

– Что случилось?! Как?! – обхватив голову, вывернув ее к небу, вопрошал Тамм и потом, разглядев себя в окуляре какого-то зеваки, решил, что сфальшивил, что слишком возвысил голос, но не заметил, что возвысил его на русском языке и просто был никем не понят.

В воображении Тамма правосудие уже разинуло над ним свою клетчатую пасть и рыгнуло цифирем и плесенью. Призыв «Бежать!» перебивал вопрос «Куда?», а ответ, оттиснутый на авиабилете, был тут же, в запотевшей ручке, что сжала конверт. Насчет всего, что ему придется бросить в Таллине, он не переживал. Пусть жена его и кляча, зато квартира не жеребец – и сама не ускачет, и силком не уведешь.



³ Пожалуйста, обождите (эст.).

Не вижу во тьме стрел Сатурна. Внутричерепной костер – последний светоч мой! – через сутки гасит стыдный душ Шарко. Стыдный в том аспекте, что стоять под его струей мне в неглиже, а поливает тетенька.

– Тише, mon papillon⁴. Тише, родненький.

Бабочка – обоюдный сувенир. Метумов вырезал на моих лопатках ее крылья. Теперь у него есть кожаная бархатница, а у меня мясная многоцветница. Смерть – она там, под шкурой. Иногда она скребется изнутри, и вы идете по врачам. Звук, с которым он сорвал плотскую шаль – этот мокрый треск, – так звучит смерть, сюитой боли. Она еще и благоухает, но у меня хронический ринит. Говорят, пахнет шелкопрядом. Еще говорят, что с юности не хворают до старости. Не доживают.

– Биопсия мозга где?

– Понятия не имею. Вот те крест – +. Выщип еще по заезду брали.

– Да, все, вижу. Хотите знать, что новенького пишут про вас наши коллеги?

– Газета «Дурной вестник»?

– Да-да.

– Журнал «Клиника»?

– Он самый. Так хотите?

– Да уж вываливай.

– Аллопсихическая деперсонализация.

Ах, деперсонализация! Это когда ты одной ногой в пустоте, когда у съемочного аппарата в мозгу барахлит объектив. Дефицит экзистенции. Полусмерть. Браво.

Мы в келье Метумова. Кругом пластмассовая анатомия и пыточный инструментарий. В ванной скулит псина. На полу ведро. В ведре – бычки, собачья шерсть и увядшие розы. С прикроватной тумбочки на меня смотрит череп Марии-Антуанетты. Метумов планирует вставить ей – то есть ему, черепу; Мария в нем давно истлела – мою челюсть, а взамен уже собрал чертовщину из зубов лысых китайских собачек. Прикус обещает лучше нынешнего.

– Удавил бы *вас*, но, к сожалению, я всего лишь строчка, пишу по памяти и, видите ли, хватками конечностями не располагаю.

– Так ведь я тоже. И шея моя неписана, так что мне будет с того, если найдете чем и сдавите? Согласные на гласные наедут? Безграмотно получится, и ладно.

– С какого потолка это заключение? Читаете, значит, мои писюли, а потом диагнозами обзываетесь? Все то, что вменяют мне в упрек по делу, всего-навсего гены и чудеса воспитания. С сопливого детства у меня широкоформатные представления о самых разных вещах и явлениях. Например, был у нас в Назарете кролик. Кролика звали Снежок. Однажды мама подходит ко мне и говорит: «Сегодня Снежок умер, и теперь его зовут Мясной Рулет», – а уж такие пассажи расширяют сознание, поверьте.

– Вы, раз мы теперь на *вы*, изъясняйтесь фактами.

– Это вы всегда на *вы*, а мне по барабану. И факты ваши контужены, но вот незадача – они часто меняются, как скоро идут на поправку.

– Вы говорите-говорите.

– А *вы* не перебивайте. Не пойму, вашей братии хочется верить, что я свой в доску, или просто поддержать меня подольше? Что мы имеем? Сердце мое титровали раствором щелочи, кислоты и натурального зла. А на бумагах что? Низкий уровень серотонина? Мой мозг разъело горе. Оно, как раковая опухоль, пустило метастазы на сетчатку уцелевшего глаза, и теперь все слишком ясно.

– И что вам ясно?

⁴ Мой мотылек (*фр.*).

– Если я и больной в самом деле, то сумасшедший, не умалишенный. Что ни говори, а это не то же самое. Сойти с ума – это волевое решение, а лишиться его – как быть ограбленным.

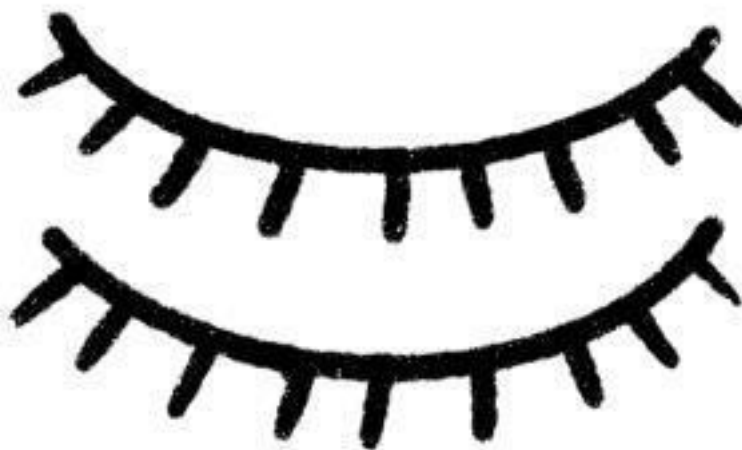
– И то правда.

– Вот-вот! Есть люди не без ума, но с него явно сошедшие. Я и сам в таких души не чаю.

– Чаю?

– Давайте чаю. Только с молочком.

Так чаевничала Логика, и не было никакого кролика, и все я соврал – и там, и вам.



Те, кто умер, уже не смущают и сами не смущаются, когда разлагаются вонюче, шляпы не сняв, – совсем манер в этом плане не имеют, а претензий никто и не высказывает. Разве что говорят: «Ну, это ж мертвец. Что с него взять?» И правда, а в остальном мертвые – удобные в своей непритязательности люди, как их ни крути. Да и ароматический вопрос решаем. Но вот для водителя катафалка Меира, который завтра стал последним шофером Логики Насущной, он стоял как никогда остро, поскольку ехал тот в своей служебной машине – и, кстати, не «Газели» плюгавой, а элегантном «Кадиллаке» – не один, а вез многоуважаемого рава Моше. У них была назначена шахматная дуэль в местном клубе. Когда уже подъезжали, произошел короткий диалог:

– Боюсь спросить, что за амбре здесь стоит, – именно что спросил рав.

– Не бойтесь, – ответил Меир. – Это трупное.

– Напоминает знаешь, что?

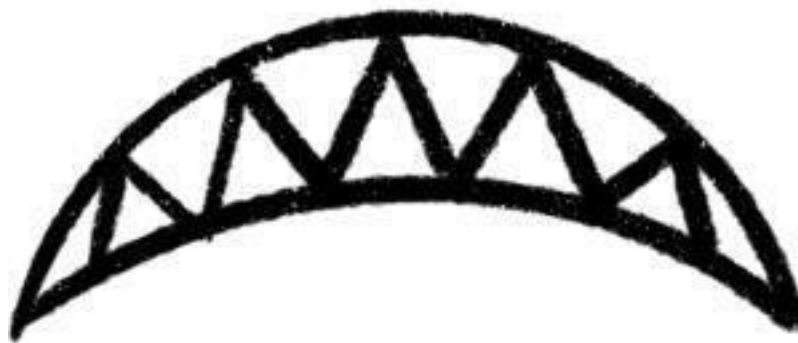
– Что?

– Одеколон «Шипр», помнишь?

– А по мне – ну чисто жженный сахар, но формальдегид, когда учуешь, так ударяет в нос, что потом не разберешь.

– Ой да пес же ты, Меир. А какой способный – мало того что нюхач, так еще и на автомобилиста выучился. Феномен!

На этих словах рава Меир поддал газу, чтобы зашумел мотор, и тихонечко завил хвостом.



За полночь. Непроницаемый мрак, и в нем толкуют.

Большой Взрывович. Дорогая, оставь! Ты вся уже светишься ненавистью, как преисподняя!

Истина. Ты мне скажи, эвакуировали?

Метумов. Последних выводят.

Истина. Чуждо. Антон, дерните рубильник.

Свет выводит просторное помещение без реквизита. Дерево выкрашено эмалью. В центре стоит стул, к нему привязан траурной лентой «Единственной дочурке» нелепо разодетый Тикай Агапов, между ног он сжимает японскую копилку, его голова тщательно обрита наголо, и на полу вокруг стула блестят прядки светлых волос. Прямо над Тикаем стоит пергидрольная блондинка Истина Насущная в экстравагантном костюме. По углам – чуть большие метра росту Большой Взрывович Насущный, куцый Цветан Метумов и златозубый Антон Вакенгут.

Вакенгут. Милости просим на экзекуцию!

Истина. В каком я шоке. Сперва увидела тебя и думаю: «Воротись-ка ты, Тикай, в материнское лоно и сгинь там, и сгний!» – и только сейчас поняла, какое счастье нам привалило.

Тикай. Раскобылела ты, девочка моя.

Большой. Она тебе не девочка!

Метумов. Раскалена добела – это мягко сказано.

Истина. Тс-с, мальчики. Пускай.

Тикай. Слышали, мальчики? Пускай.

Большой. Ну говори, зачем пожаловал?

Тикай. Уже и допрашивают с порога! Додумались, к стулу привязали!

Метумов. И на совесть. Кроме того, Антон вас высушил, постриг и даже причесал.

Вакенгут. Пробор семь к трем, насколько он возможен на таком коротком материале. Я бы еще профилировал челку, если никто не возражает.

Тикай. Пытать меня удумал, ишак щербатый? Звучит-то грозно, но вот увидите – я выстою, вам меня не сжить. Я еще глаза всей вашей своре измозолю в пузыри.

Истина. Простите меня, но возможно вообще разговаривать с этим шимпанзе, как думаете?

Тикай. Ой-зам-пом-хам-цу-сой-кум-лам! – вот как я думаю.

Метумов. Столько лет, и ни намек на выздоровление. Прелестно.

Истина. Зачем явился, тебя спрашивают!

Тикай. Вступаю в наследство.

Большой и Истина переглядываются.

Тикай. Вы будете против, конечно, но есть один юридический нюанс. *(Пауза.)* Левый карман.

Истина вынимает конверт и достает из него документ и записку.

Истина. Действительно.

Большой. А на бумажке что?

Истина. (*Читает.*) Как решишься – возвращайся. Дверь в Питер я всегда держу открытой.

Вакенгут. Не верю!

Тикай. (*Смеется.*) Да хоть ты тресни!

Истина. (*Отрешиенно, всматриваясь в бумагу.*) Это ее почерк.

Большой. И что нам делать?

Истина. (*Записку сминает и отбрасывает, а завещание сворачивает и прячет в декольте.*) Берем его на поруки, что ж еще. Цветан, одолжите молодому человеку устав.

Метумов долго роется в пиджаке, находит черную брошюру и протягивает Тикаю, тот хватает ее в зубы.

Истина. Нарушишь хотя бы один пункт, и тебя ждет страшный суд. У нас новые порядки, Агапов. Мы обрели веру.

Вакенгут. Слава луноликому!

Истина. Мы теперь нинисты.

Тикай. (*Сплювывает брошюру.*) Нинисты?

Метумов. (*Подымает брошюру с пола и кладет Тикаю на колени.*) Нинизм – это как дадаизм, но мощнее, сакральнее и через «ни».

Тикай. Это вам Логика напела?

Истина. Она умирала. Ты ее еле живую бросил! (*Пронзает заточенным ногтем и одним движением рвет Тикаю воротник.*) И все-таки она страдала не напрасно. В коме ей явился Нини – покровитель всех полоумных мира. Он указал путь ей, а она нам.

Тикай. Да знаю я этого божка. Вы поэтому отпустили ее в Петербург? Куда он ей путь указал? От вас подальше?

Большой. Во-первых, он тебе не божок, а во-вторых – Логика назначили в город заведовать аптекой.

Тикай. Хитрая какая.

Истина. Семнадцать лет мы ждали!

Тикай. И ждали бы еще сто семнадцать, но Логика додумалась вас обвести. Попокойтесь, она была нечеловечески здорова, точно вам говорю.

Истина. Цветан, разряд.

Метумов дает Тикаю подзатыльник.

Тикай. Ай!

Истина. Ай?

Тикай. Цвай! Драй!

Истина. О покойниках или хорошо, или вполне. Поимей совесть.

Тикай. Принято, господи Иисусе, здрасте! У тебя, как я погляжу, в том месте, где у других людей сердце бьется, зияет Марианский желоб.

Истина. (*Наваливаясь грудью Тикаю на голову.*) Ты вслушайся.

Тикай. Человек я законопослушный, угрожать расправой не стану, но повеситься тебе, коза шаловливая, пожелаю в кратчайшие сроки. На лилипута своего взгляни. Он сейчас лопнет.

Большой свирепо пыхтит.

Истина. Мы обручились.

Тикай. Ого! И сильно обручились?

Большой. Еще слово скажешь – получишь по носу.

Тикай. Сейчас скажу. А ты как бить будешь – лесенку приспособишь или в прыжке?

Большой. Во мне метр пятьдесят, песий сын! Не бывает таких высоких лилипутов!

Тикай. Ну все. Ну извини.

Большой. На первый раз прощаю.

Тикай. Вы слышали? Прощает мне! Да будь ты хоть двух метров росту, лилипутом бы тебя и звали. Мелкая у тебя душонка, Взрывович!

Истина. Не велика беда. Быть, что называется, маленьким человеком – это естественно. Ему так космос завещал. Вселенная-то упруга. Она сжимается с ходом тысячелетий. В ней нет места большим людям, глобальным думам. Мы, милок, этих вселенских пропорций не замечаем – сравнить-то не с чем. А плотность пространства стремится к какому-то там абсолюту, как до Большого взрыва. Уяснил? Что тебе мелочность, Тикай, то ученым мужам – эволюция души человеческой!

Тикай. Надо же, какую ахинею вам Логика скормила. Словами тех самых ученых мужей, тенденция прямо противоположная. Пространство со времен Большого взрыва расширяется. Его прямо-таки распирает, и близится тепловая смерть Вселенной, когда энергия и материя так рассеются, что время даст по тормозам, и все, полный финиш, никаких больше «тик-так» и полдников.

Взрывович раскрывает рот, чтобы в чем-то возразить, но сдерживается и со свистом пускает воздух носом.

Метумов. Логика как раз придерживалась теории, содержательно близкой к вашей, – теории Большого апельсина.

Тикай. Приехали.

Метумов. Одна из аксиом нинизма гласит, что Вселенная расширяется от созревания. В Судный день ее омоют и съедят. Или так, или она сгниет, если у Большого едока аллергия на цитрусовые.

Истина. Что у тебя с глазом, Тикай?

Тикай. Сама знаешь, мой случай – кошмар отоларинголога: глуховат, имею ринит, фарингит и тонзиллит в придачу, нос уже ни гугу, но что творится последние пять лет с моими глазами, то непосильно решить никакому окулисту.

Истина. Не томи.

Тикай. Безднадежная катаракта.

Истина. Звучит отвратительно. Взгляните, Цветан.

Метумов. Провидческий фурункул роговицы.

Истина. Думаете?

Метумов. Однозначно.

Тикай. Шарлатан! Чучело огородное!

Метумов. А позвольте-ка взглянуть на ваши запястья.

Тикай. А ну нет!

Драма. (*Слышит ее один Тикай.*) [Иголки и порошки – наши тайные грешки!]

Истина. Везите тогда его на бамбук, а глаз извлеките в приемной от греха подальше. Мы с Большим здесь задержимся.

Вакенгут. (*Цветану.*) Я проследую за вами. Помогу, чем смогу.

Истина. Впишите его к себе поближе и подселите Агента, пусть наблюдает.

Тикай. Я все слышу.

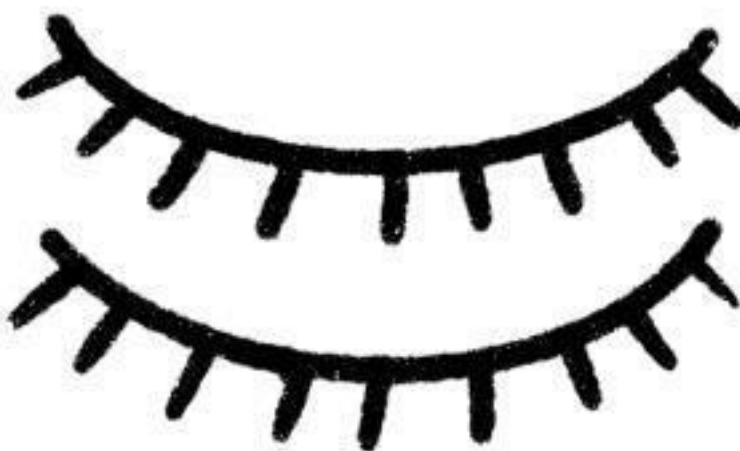
Истина. Ключик тогда поищите в ногах Раисы Валерьевны, если не брезгуете.

Вспышка с хлопком – перегорает лампа, – и опять непроницаемый мрак.

Истина. Ну и черт с ней. Мы закончили. Сам себе приговор выписал, сам в петлю влез и сам с плахи бросился. Поражаюсь, как я проглядела? Дети портятся быстро, как бананы. Два дня их не наблюдаешь, а на третий они уже пропали. Смеешься? А мне не смешно. Когда полетели бомбы, чувство юмора мое легло под каток. Давку пережило, но стало таким плоским. Минуточку. Мигрень клюет виски, а ноги ватные, как после любви. (*Пауза.*) Матушка тут еще

скончалась. Помнишь ее, Первую Инстанцию? Все, мы ее потеряли. Потом, правда, нашли, но она к тому моменту уже забродила. С одной стороны – горе, а честно сказать – заманала старая! И то у нее болит, и се болит! Уж слегла, вся она больная! А умерла как здоровая! На коляске своей вздумала укатить в Москву и выйти замуж за офицера. На полпути у нее отказало сердце, а вместе с ним печень, легкие и остальное – вот так все сразу, – а прямо перед этим ее переехала фура, у которой отказали одни только тормоза. Мямлик тоже больше не с нами. Увлёкся реальностью, внушал нам разумность и ясность суждений, чем навлек на себя изгнание и клизму. В обратном порядке. Ищет теперь прощения. Манифестирует идеи луноликого в метро. Мямлик на то и Мямлик, что диктор от бога, но умоляю! – реальность, дрянь эту, мы у себя не потеряем. Только чистые иллюзии, верно, господа? Иллюзии, и ни капли по существу!

Слышно, как перерезают ленту, и все расходятся.



Многие недоумевали, когда не находили имени Цветана Метумова в газетных сообщениях о смерти Логики, ведь именно он был семейным доктором Насущных, но Тикаю все было ясно. Метумов специалист был большой – ему даже случалось выступать по радио – и репутацию свою он трепетно берег. Каждый, кто его при личной встрече узнавал, понимал, что барин этот не лыком шит, и как будто в упор не замечал, какой он жуткий, изрубцованный, и не слышал его приторный, маркий голосок. Это уже потом обсуждалось, за глаза.

Выглядел врачок этот и впрямь жутко. Лицо его было щедро испещрено шрамами – из-за них не росли где положено волосы и задубела мимика, – и весь он был одной сплошной зажившей раной. По слухам, задумал он как-то в молодости добратся от дома до магазина и обратно кувырком. Так и сделал, на том и облысел, и покалечился. Помимо прочего, врожденную его угрюмость обостряла сознательная несмеянность, которую он блюл, поскольку так помнил, что в детстве цыганка нагадала ему смерть со смеху. В действительности ту малолетнему Цветану обещала его родная бабушка, когда они вдвоем шли смотреть на клоунов. Память у него была хоть куда, и из-за чрезвычайной востребованности самому Цветану ее не хватало.

– Помню, раньше ты с шляпой на голые мозги ходил, – заметил делано скучающим голосом Тикай. Метумов пригладил плешь.

– У меня теперь череп на молнии. – Он наклонил голову, чтобы Тикай смог разглядеть опоясывающий ее спай, как у спортивной куртки, с собачкой над правым ухом. – Чуть беда – я его отстегиваю и высылаю малышей-нейромехаников отлаживать что сломалось.

– А держишь их где, когда не хвораешь?

– В аквариуме – где!

Под бедой, догадался Тикай, Метумов понимал приступы здравомыслия, за которые ему грозило временное отстранение от работы в Бамбуковом доме, а то и вовсе увольнение. Место там хлебное, но и требования – будь здоров! Но не психически. Истина к тому же с сотрудниками держала дистанцию – даже такими лояльными, как Метумов, – и на ты была только с супругом, а мнительность ее была такой свирепой силы, что отпускала она своего худшего воспитанника вместе со своим, между прочим, гинекологом с невысказанным опасением: как бы Тикай не пошатнул веру Метумова в Нини. Она уже спохватилась, передумала оставлять их наедине, но было поздно – те уже выезжали из города (засыпая, он хорошел – ему шли густые тени, шел свет рекламных вывесок – и оба покидали его с толикой уныния) на стареньком Цветановом «Пежо». Метумов был рад поговорить и ухватился за заведенную Тикаем беседу, как утопающий в тишине за брошенный с фразой спасательный круг, и не преминул подчеркнуть ее приватность выпростанным из-под шейного платка вторым подбородком с ожерельем из бусинок рыбьего жира.

– Это недавно отгрохали. – Он кивнул в сторону новостройки. – Тут дом такой стоял достопамятный, и снесли, представляете?

Тикай только кивнул, а про себя подумал: «Так-таки возвели же новехонькое. Что плохого-то? Не всякий снос еще к обновлениям. Иногда и для того снесут, чтобы возвести то же самое, перекрашенное в розовый», – спустя же десять минут, проезжая знакомый уголок, уже сам себе в мыслях прекословил: «Вот тополя умерли, но зачем же их было спиливать? Без них небо выцвело, и улица как бы унизилась. Еще электрички эти исполосовали ее металлом, рельсами. Они не легли на нее, а ее продольно разрезали. Это верно, что продольно – так не больно, – но я помню камень с зеленью». Драма своим ритмичным мурлыканьем подстрекала Тикая к рифмоплетству.

– Вы гляньте, как этот фазан припарковался! – взял реванш Метумов. – И что мне прикажете делать?

– Домкрат при себе есть? Сними ему покрышки. Поставишь во дворе клумбу или две.

Метумов, будучи человеком аристократической породы, не понимал, что связывает между собой покрышки и клумбы, и тем громче рассмешила его шутка.

– Соскучились по дому? – спросил он, отсмеявшись.

– Никак нет, а бывшим однокашникам, которых я всегда недолюбливал, в наказание за все хорошее желаю бракосочетаться и детей.

– Да уж куда детей! Слава богу, это невозможно. То есть, вне всякого сомнения, бог вряд ли жалует стерилизацию, но мы ею напрасно и не балуем. По крайней мере в нинизме охлаждение никак не возбраняется.

– С каких пор?

– Стерилизация у нас? С самых давних, – смутившись, цедил Метумов. – А то вы не знали.

– Так у меня ведь все на месте.

– Да что вы, Агапов! Вот уже двенадцать лет в вашей мошонке клацают друг о дружку подлинники яиц Фаберже, – сказал Метумов, ценитель гонад и половых клеток.

Свое потрясение Тикай попытался скрыть за остекленевшим выражением лица, но его тот же час выдала, постучавшись изнутри, икота. Завидев придыхательные содрогания несчастного, палач Тикаева потомства не растерялся и перевел разговор.

– Отца-то разыскали?

– Разыскали, – соврал Тикай.

– Как вы теперь?

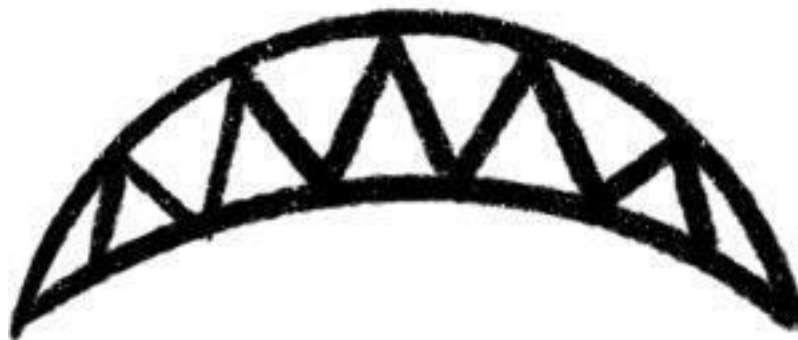
– Он умирает, и я уже издалека начинаю.

Стена между ними росла и вширь, и ввысь, и быстро, но Метумов не думал сдаваться.

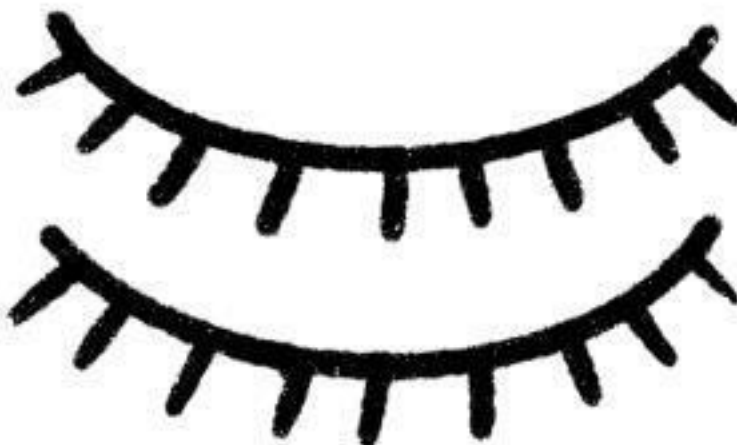
– Интересно, во сколько встанет полизать ей ножки? – спросил он, пальцем указав на пеструю женщину, подпиравшую фонарь за перекрестком.

– Полижи мне. Беру рублями два раза по пятьсот. У меня вот очень вкусные копыта, – отвечал Тикай резко, махом сворачивая болтовню.

Далее ехал Метумов небрежно, все поглядывал на пассажира коротко, но часто, а теперь спрашивает: «Вы как себя чувствуете?» – а Тикай по-прежнему молчит, и голова его из воротника торчит, как вянувший цветок, да и воротник поник – он был разорван в клочья.



Я скажу, был в жизни Тикайчика такой период, что он и чувствителен стал донельзя ко всем горестям людским, и чаялся по поводу и без повода. Тяжело переживал он даже какие-то исторические кончины и элементарнейшую мистерию. Кабы дочь Насушных умерла тогда, он бы и сам на себя руки наложил, но осенью за год до побега имело место обострение его тоски; Тикайчик даже заболел и заметно хмурился сколько-то месяцев. Тогда он был слезлив, раним невозможно, а когда выступили первые подснежники, которые у нас вида только прошлогоднего собачьего серева, он вдруг очерствел и никогда больше не показывал сердца. Причем перемена эта была так явственна, что я имел радушие озаботиться, не случилось ли чего, но он меня развернул, да так круто, что не оставалось моих сомнений в его всестороннем благополучии. И может, правда в том, что не нужно никакого рокового происшествия, чтобы человеку молча взять и обо всем остыть, оскалиться на мир и впредь встречать его гонцов штыками. Отметьте еще у себя: что бы там ни пел Цветан, освобождать от должности я его не стал, ведь не порок флегма, а недуг человеческий. Да и чего греха таить, задарма мы своих не бросаем. Тут нужны серьезные барыши.



Где отпевают Логику, Тикай узнал из местного еженедельника. Войдя в восьмую комнату на втором этаже после ряда малоприятных процедур, в число которых входила ампутация правого глаза, он вынул еженедельник из кармана пальто и швырнул под вешалку. Прямо на цветной передовице было выведено: «Прощание с Логикой Насушной пройдет на ул. Победы», – и следом же от руки Тикаем дописано «над здравым смыслом». Врученный Метумовым устав основных положений нинизма он словно бы нечаянно оставил в машине – этот жест ему казался яростнее, чем использование его листов в качестве туалетной бумаги или трута. По аналогии с человеком, которому забытым оказаться порой гаже, чем быть униженным или истребленным. Агент еще не пришел, поэтому новосел воспользовался моментом и с Драмой в обнимку улегся на пол в ванной, головой на атрибут туалетной роскоши – журнал кроссвордов. Драма молчала, и Тикай заговорил с пурпурным ковриком. Что тот сплетен из целлофановых пакетов, Тикай так сразу и не заметил. Рукотворный, он наверняка вместил больше тепла, чем зеркало с фабрики, которое видело только вспухшее и мокрое, когда не сонное и немытое, – его, небось, почти не трогали, а если и трогали, то затем только, чтобы снести напотевшее. А коврик знал сухое тепло рук еще в бытность его емкой шелестящей тарой. Это имеет значение, сообразил Тикай, как и его цвет. Пурпур, рассуждал он, несpekтральный, юродивый сын Алой и Сизого. Его природа раскрывается в контекстах.

В контексте светфора, предположим, пурпурный как чрезвычайный красный мог значить нераспознанный запрет. Иначе говоря, пурпур – это нетвердое «хватит» зажатой жениш-ком девицы (твердое оно, твердое, не насильничай). В контексте радио пурпур виделся Тикаю симметричными частотами, хотя ему и претило, как не к месту встраивается в воображаемую им палитру белый шум. В контексте же прозопопеи, осенило Тикая, пурпурный без труда кристаллизуется. Он вообразил себе багрянец смущенного аметиста и растекался лужей от умиления. Агент явно не торопился, и в этом агрегатном состоянии Тикай решил провести остаток ночи. Интеллектуал, нечего и говорить. Заселившийся по соседству Метумов тоже особо не маялся, разделся, сполоснул лицо, смазал обе свои дырки – входную люголем, а заднепроходную гепариновой мазью, – разделся и лег спать.

Наутро солнце так и не взошло, а на первом этаже Бамбукового дома по вине Тикая скончался постоялец.

Нет, Тикай Агапов не совершал убийства, но совершил взятие жесткого, как камень, дивана весом своего тела, в честь чего люстра этажом ниже совершила сецессию по отношению к потолку, и пускай она никого не пришибла, шаман Чака, сын Йона, заслышав грохот ее удара о пол, от удивления смертельно подавился сырой картошкой, которую жевал, ошибочно приняв за облысевший плод киви. Задыхаясь, он успел выбежать в коридор, а уже оттуда его без происшествий доставили в близлежащий морг. Никакого слышного отклика у жильцов это событие не возымело.

Под дверью Тикай нашел записку. В ней говорилось о решении закапывать Логику сегодня и проводить бдение дальше уже без тела, а то оно начало слегка пованивать. Просунув записку меж бамбуковых стеблей в неизвестность, Тикай скинул всю лишнюю одежду на злосчастный диван, схватил Драмму, с которой решил не расставаться, разглядев в ней свой барахлящий на непогоду счастливый талисман, и быстрым шагом направился в разбитый через дорогу шатер, но на выходе из дома, верно подгадав, предстал во всю ширь дверного проема Метумов.

– Рано еще. Пойдите, перекурите.

Тикай не стал пыжиться, но встал по левую створку, так что между ним и Метумовым то и дело сновали люди. Не хотелось ему жаться с человеком, который так запросто лишил его трех анатомических окружностей.

– Как настроение?

– Индифферентно.

– Ну и выраженьица у вас, друже! О них голову проломишь, – говорил Метумов с безучастным видом, будто транслировал. Его по колени занесло липким снегом, чего он сам не замечал, пока не поймал ошалелый взгляд Тикая. – По радио передают, за ночь выпало рекордное количество осадков. Зима чего-то забыла, вернулась и осталась, видно, погостить с неделку.

– Как тут похороны проводить?

– Своим ходом. Не поверите, кто почтил нас своим присутствием. Вождь Краснокожих. У Тикая глаз и шов на лоб полезли.

– Врешь!

– Типун вам на язык. Он сейчас с Насущными. Сбежал все ж таки. В одного. Самому не верится.

Тикай смолчал о том, что бежал Вождь не один. Что он составил тогда ему компанию, и вместе они дошли до трассы, где пришли к выводу, что морозный февраль – не лучший месяц для побега. На трассе ни машины – фонари горели впустую, пока они не пришли, – и время такое: уже не позднее, но еще не раннее. Из-за метели видно было по пять первых столбов что справа, что слева, дальше – только оранжевые пятна в подвижную крапинку. Через двадцать безжизненных минут на обочине Тикай сдался. «Иди с миром. Будет туго – рисуй картины», – сказал он Вождю, а тот ему ответил: «Агапов, не соли мою малину!» – и они поборанились. Тикай, как оказалось, продрог и не хотел уходить без Логики, а Вождь был в тулупе и боялся, что она сдаст их своим родителям, чтобы выслужиться, но спорить не стал, развернулся, прошел пять фонарных столбов и исчез.

Его хватились наутро и искали, верно, до сих пор. Шла молва, что Вождя погребло под февральским снегом и он растаял вместе с ним семью неделями позже. Тикай ее принимал на веру, а то бы, думал, встретились, поговорили обо всем хорошем и незначительном да помолчали обо всем плохом и главном. Предавшись воспоминаниям, он едва не рассиропился.

– Вот он сбежал, а год или полтора спустя – точно, был месяц май – топал я по Гончарной в сторону вокзала, когда мимо меня прошла обворожительнейшая особа: черные локоны спадали на темно-синий плащ, утянутый широким ремнем в поясице, а ресницы ее так резали воздух, что за ней его на дыханье не хватало. Я тогда остановился, чтоб свой пульс прощупать, а убедившись, что сердце мое, по всей слышимости, на месте, я обернулся и окликнул: «Вождь!» Мне показалось, особа замерла, но затем – и уж это мне не причудилось – продолжила свой путь.

– Ну, может, она была нема, – пожал плечами Метумов.

– А может, он так меня дурачил. В его это характере.

– Скажите-ка мне лучше, вам не знаком вон тот франт у шатра?

Тикай не смог определиться, в какой край шатра смотреть, и его внимание отвлекли люди, шедшие гусеничным волоком от автобусной остановки. Помимо стекшихся на похороны журналистов и любопытствующих психиатров откуда только не, заявили всей оравой родственники Истины – сестры Любовь и Надежда с семьями по полсотни человек каждая. Тикай провожал их взглядом, пока не заметил утонувший в снегу серебристый «Форд» и беспокойно стоящего подле него человека в клетчатом костюме, по здешним меркам почти неприметного. Тикая, однако, поразила его шевелюра. Он был головой не русский, не рыжий, не седой и даже не крашеный, а образцово лысый. Иными словами, поразила Тикая не столько его шевелюра, сколько ее безусловное отсутствие.

– В такую погоду, да с непокрытой головой, – сокрушился он насмешливо и со скрипом потер шишку на собственном гладком затылке.

– Стал быть, знаете его все-таки?

– Нет. Впервые вижу, – сказал Тикай, как на духу.

– А вот он вас знает. Подходил ко мне, спрашивал Агапова. Я сказал, что вы скоро спуститесь, и он встал там, стоит. Хорошо, крепко стоит. Ждет, поди, потому что весь в нетерпении и потребляет табачи из трех разных пачек: один турецкий, один немецкий и один восстановленный. Так на глазок и не скажешь, какой национальности этот третий. Но вот вы вышли, а он не идет. Сдается, в лицо вы с ним не знакомы, да и гостей не ждете.

Тикай пососал губу, набираясь решимости, и пошел на таран. Когда он приблизился, незнакомец перестал подпрыгивать на месте.

– Чего хотели? – У Леопольда Тамма, за жизнью которого, не имея выбора, Тикай подглядывал последние шесть лет, он научился говорить жестко и без обиняков. Леопольд Тамм был проктологом.

– Илларион Агапов?

– Тикай *Илларионович* Агапов.

– Человек-в-клетку. ФСЖБ.

– Таких контор не знаю.

– Федеральная служба жития-бытия. Мы ищем вашего отца.

– *Мы* – это кто *мы*?

– Я и Кусака, – он, не сводя с Тикая глаз, махнул большим пальцем себе за плечо. В окне «Форда» бешено скалился малиновый пудель.

– Понятно, – вздохнул Тикай. – Придется мне вас огорчить. Не наличествует в природе Иллариона Агапова, ни живого, ни мертвого.

– Как мы и предполагали. – В голосе Человека-в-клетку задребезжали ликующие нотки.

– Еще раз, кто *мы*? Вы и Кусака?

– Мы в ФСЖБ. Я должен поинтересоваться о деталях вашего зачатия.

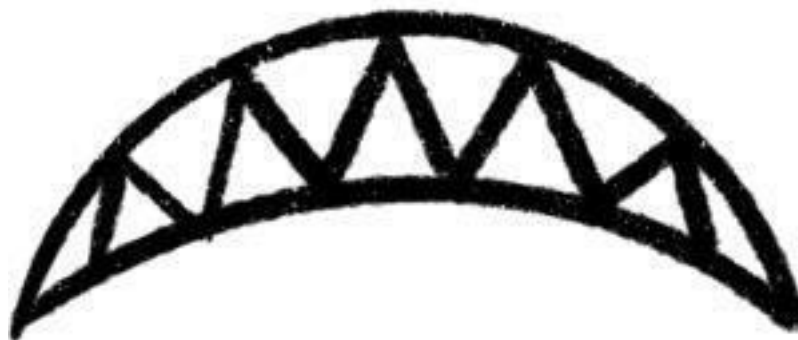
– Да ни в жисть! Гадость!

– Было ли оно непорочным? Ответьте, говорю, не уходите! Слушайте, если вдруг вы *некто* непорочно зачатый и повторно явившийся, не шифруйтесь. – Он многозначительно подмигнул, и Тикай заметил, что ресниц – и тех у него не было. – У нас к вашему прибытию все готово. Сейчас, на заре третьего тысячелетия, мы должны знать. – Стоило ему повесить голос, Тикай попятился с выражением не страха, но раздражения.

– Кто *мы*?! – спросил он, уже повернувшись к федералу спиной.

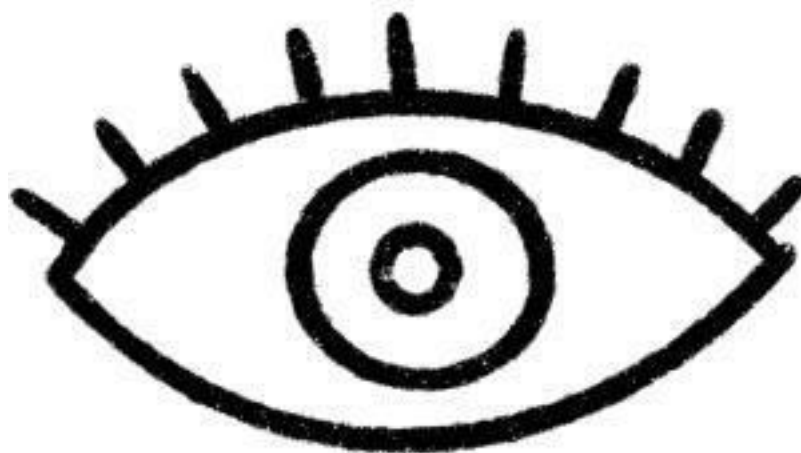
– Дети божии, Тикай Илларионович! Весь род людской!

И потом Тикай, грохнувшись плашмя в сугроб, закатился со смеху в снеговика и в таком виде доходчиво объяснил Человеку-в-клетку, что произошла ошибка, после чего тот выкопал свой «Форд», сел в него и уехал, а какой-то мальчишка – видимо, один из племянников Истины – всунул закатанному в снег Тикаю здоровенную морковку в рот, из-за чего в совокупности снеговик остался с носом, Тикай с завтраком, а новейшая история – с отмененным Вторым пришествием.



И теперича меня спрашивают – а прошло шесть лет, – что из себя был Тикай Агапов, как он ел и поступал вне крыши. Отвечаю: пил что-то антигистаминное. Ходил в театры, а Логика его прикрывала. С ним Метумов вплотную работал – его бы и допросили.

Тикай никого не уважал с полной отдачей. Все твари божьи за те или иные повинности заслуживали в его глазах презрения – кто-то большего, а кто-то меньшего. Только муравьи одно время были у него в почете. Они же вкалывают как проклятые и обслуживают тем самым фауну, доказывал он во все уши, пока его не озарило, что обслуживают они не столько фауну, сколько обрюзгшую бабищу, которую негласно считают королевой, а разве заслуживают почтения безвольные рабы матриархата? Так Тикай перестал уважать и муравьев. Притом себя он презирал жарче, чем кого бы то ни было, ведь лучшие всех знал, какой нечестный и трусливый он человечешка. И самое интересное – Метумов никогда никаких гадостей Тикаю не учинял без соответствующих распоряжений старшей Насуиной. Уж я бы усомнился в его верности.



В отчем доме стены подпирали колоннообразные цистерны с отравой. У самого отца была грация сомнамбулы Чезаре, те шестьдесят галлонов паранормалина и болячка во все тело. Ее сегодня называют прокрастинацией. Много как называют, но не лечат, а упоительно ею страдают⁵. Бацильный, он должен был затесаться в богемный или какой угодно видный эшелон России, отчихаться и дать дуба во славу Герцога. Эдакая командировка в один конец. Он решился на это из каких-то личных, самых лучших, но туманных побуждений, обслуживая зловердные, зато вполне конкретные геополитические. «Экономика и культура – вот две самые уязвимые зоны любой цивилизованной страны в мирное время», – он в ясельках мне говорил, когда с ложечки кормил радиоактивным изотопом.

В другом доме моя мать умерла у кухонного стола в жирных пятнах света неисправной лампы, как сельдь, утопшая в масле. В тот день я мнил, что знаю о деле Азраила все, но видел для этого слишком мало трупов. А мертвецы умеют внушать: один их вид перебивает аппетит к жизни. И не меняют ничего ни освещение, ни ракурс; романтизация смерти – обычный треп.

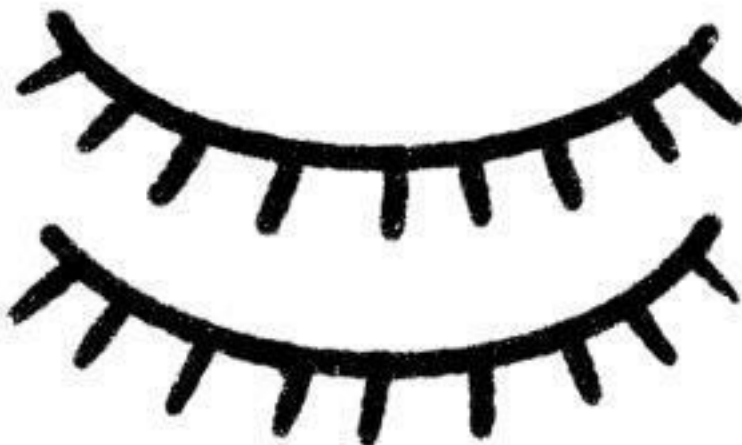
В университете она изучала восточноевропейские языки, так что была готова к переезду. Утром своего последнего дня эта женщина уже знала много русских слов, чтобы объяснить заведующему врачу, как он неправ на мой счет. Громких словес. Хлестких словечек. Это было давно. Сейчас все в ажуре с моей головой.

⁵ Это как у Гете: «Я часть части, которая вначале была всем, часть Тахты, уродившей пуфик, тот надменный пуфик, который теперь оспаривает у Матери Лени ее давнее первенство и место, но, как ни старается, победить ее ему не удастся, ибо людские тела, устремляясь вперед, оседают на нем».

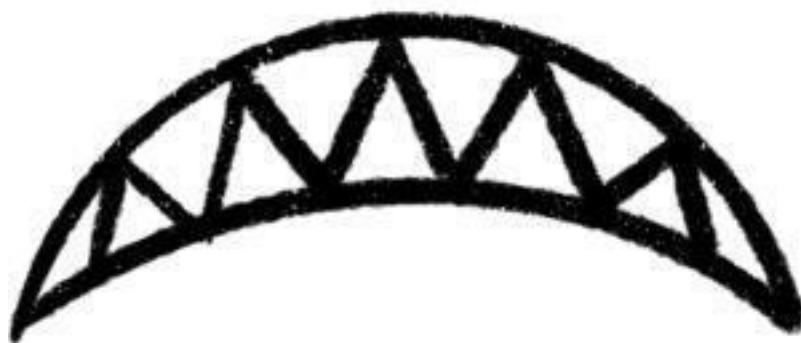
Отец исчез. Клинков в спине тамап скопился лес. Она перекладывала их в сердце, пока оно не лопнуло. Тем вечером. Без пятнадцати минут ужин. Лазурью вен нарисована акация. На разделочной доске перед ней, положим, лук. Ветвью с обручальным кольцом она тянется за ножиком, но его-то клинок лишний. Ее по-английски настигает осень. Она замирает, сопит громко, хватается за горло, сгибает колени, дрожит, хрипит, но все не поворачивается ко мне. Напоследок моя мать – танцовщица. В программе – агонизирующая пляска на бис. Часто моргает настольная лампа, брызжет жиром, задает темп. Этот танец и вам предстоит пережить. То есть как: пережить его не получится, а станцевать придется. Пусть хоть лежимча.

А вот коридор из линолеума, штукатурки и трухи с них обоих. За стеной решается вопрос опеки. Там в начале сентября особенно ярко светит солнце, бурно издыхает лето. В лексиконе тела, приличествует заметить, агония – антоним оргазма, другого бездыханного мгновения. Получается, что мир битком набит различными кончинами, а агония может стать как затактом, так и кодой жизни.

Мать мою, к слову, звали Нелли, а как отца звали – не важно, потому что отчество мое, Илларионович, анаграмма материнского имени и, строго говоря, не отчество ни разу, а вполне себе матчество. Это приезжал тут один, за папаню спрашивал, а я ему растолковывал.



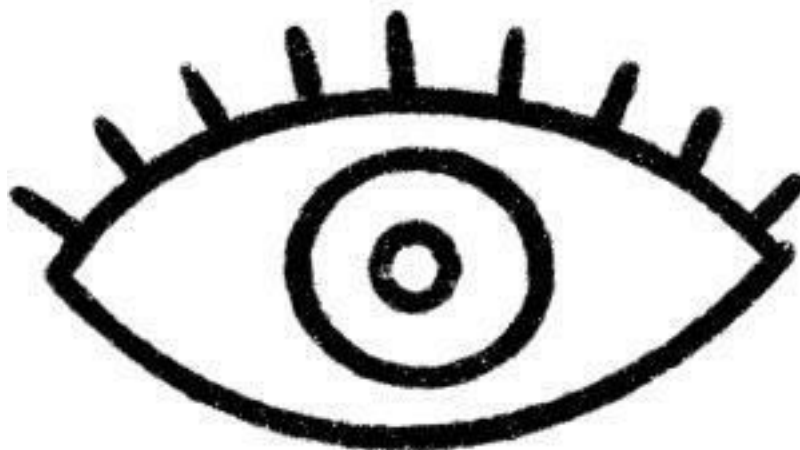
Коту привиделось нонче в пару не меньше литра крови на снегу. Горячей – и в том причина пара – на секунду (держите рифму века к веку человека). Ее, остывшую, застывшую заносит свежей ледяной крупой и оттеняет белым. И этот лед не замурует и не спасет, а только ужаснет прохожего крикливого, ранимого буквально, а вследствие – убитого случайного свидетеля. Так размышлялся кот и пожалел себя, что он не тигр, а Драма любит душегубов.



[Аукнется и начнется с озноба – она смерти подобна в без шести минут полдень – ночь без сна. Тот, кто сказал, что пишется лучше на свежую голову, соврал устами сотен, если не тысяч, когда не тысяч сотен и не сотен тысяч.

Засыпаю я обычно невыразимо вдохновленная, но просыпаюсь с пустой головой. Пока припомню всех своих муз, смеркается, и так раз за разом. Хочу с Тикаем на свиданье.

Чти слово, плоть и зерна риса, кофейную хлоазму чашек и окаменелую ириску.]



Вот документ. На пожелтевшем листе в его белые годы отпечатался герб Бамбукового дома. Ниже воспоследовал донос. Главное в нем: «...мальчик этот нелюдим, хотя и поступил уже месяц как. Он привередлив в еде, а хуже всего – свел знакомство с вашей дочкой. Вы извините, но оба они – бесята, т.к. беснуют и бесят. Прошу наделить полномочиями, чтобы принять, как повелось, необходимые воспитательные меры».

Мы с Логикой Насущной не были бесами. Мы были того inferнальней. До встречи с ней я куковал в комнате с двумя кудрявыми сиротками – Вьюнком и Вождем Краснокожих. Странные имена, скажете? А ваши имена какие странные! Нелепые и случайные, данные впопыхах и кем-то миллион раз занятые, они совершенно вам не подходят; не вас отражают, а присосхую к языку формальность, распечатанную для пущей важности на плотной бумаге.

Вождь был черняв и неприлично миловиден. Со своим вздернутым носиком и жантильной родинкой, венчавшей бант губ, он дурачил персонал, изображая немого. Затемно его пухлые губки размыкались, шепотом проливая наружу всю желчь, что скопилась во рту за день.

Белокурый Вьюнок вел дружбу с волосатым Мямликом, который обладал нередким у мужей востока качеством челинтанной ершистости, – у домашних он теперь не в фаворе. Вместе они бренчали на расстроенной гитаре в выходные дни. На их звучание под окна прилетала русая крошка по прозвищу Тридцать-личных-местоимений, или просто 30я. И имена. У всех этих детей были настоящие имена, которыми я их нарек неслышно как-то в ночь. Заметьте, нынче-то в доме все заговорили по-моему стараниями Логики.

Ло. Ги. Ка. Когда увидел ее впервые, я точно взмыл до небес. Бесконечно милая и обаятельная, но предельно прозрачная в разрезе порнографических идеалов пубертата. Именно такая у человека искушенного вызывает непреодолимую похоть. И сейчас, когда произношу ее имя, я неизменно чувствую укол пленительной телесности, которой недоставало Галатее. Но в первую нашу встречу я еще не знал ни имени ее, ни словаря страсти, тогда я был ребенком на уроке хорового пения.

Просторный бамбуковый зал. Хрупкая женщина, учитель, просит по очереди каждого проблеять октавы. От самой низкой к высокой, и обратно. Я стою восьмым в ряду. Справа от меня июльский одуванчик: стебель тельца обтянут черным платьем, а на голове упря-

мился морковный хлопок кудрей. Я зачарованно наблюдаю ее небольшие, но густые, воронные, подвижные, как стрекозы, мощные брови. Она мне сразу кажется существом другого порядка, неизбывного, которого я не знал и вообразить себе не мог. Существом беспорядка. Хоть потому, что подводка на одном глазу у нее голубая, а на другом – розовая. И вот ее черед.

– Удиви меня, солнышко.

Одуванчик кашляет в кулак. Нарочито громко, манерно.

– До-Ре-Ми-Фа-Соль-Ля-Си-Си-Са-Ля-Ми-На-Ба-Гет-Бу-Дет-Бу-Тер-Брод!

– Фасоль здесь лишняя, – замечает учитель.

Потом в комнате начались вещания. Выюнок вещал: «Логика – дочь Насущных. Удивительно, но у нее все дома». Вождь вещал: «Логика красит губы активированным углем, чтобы не потерять расположение родителей». Выюнок вещал: «Ты найдешь ее в восьмой комнате на втором этаже, прямо под нами». Вождь вещал: «Находка эта принесет тебе несчастье».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.